

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДУШИ

Внутренняя библиотека

Русская версия в духе CANON ACTVARIANVS

Старинное предание рассказывает, что над входом в священную библиотеку Рамсеса II были начертаны греческие слова:

ψυχῆς ἰατρεῖον — врачевание души.

Или, если позволить себе перевод менее буквальный, но, быть может, более глубокий:

лекарства для души.

Мало найдётся формул, в которых столь кратко было бы выражено то, чем книги являлись для некоторых цивилизаций и чем, тайно и неизменно, они оставались для меня.

Книги — не склады слов.

Не неподвижные хранилища знания.

Не полки, на которых мысль терпеливо ждёт, пока кто-нибудь протянет к ней руку.

Они способны изменять внутреннее устройство человека.

Они возвращают память.

Раздвигают границы времени.

Позволяют голосам умерших звучать в настоящем.

Соединяют в одном мгновении эпохи, которые в истории никогда не встречались.

Книги всегда обладали для меня почти орфической притягательностью.

Всякая библиотека есть, в сущности, беседа между различными областями времени:

между временем историческим и мифическим,

линейным и циклическим,

пережитым и воображаемым,

живым и давно исчезнувшим.

Открыть книгу — значит перейти особую границу.

Войти в пространство, где мёртвые продолжают говорить и где мысль порой переживает тело с упрямством, которое никакая биология не способна до конца объяснить.

Возможно, поэтому Борхес представлял Рай в виде библиотеки.

И, возможно, поэтому Умберто Эко видел в библиотеке не просто архив знания, но огромную машину сопротивления забвению.

Мёртвые продолжают говорить там, где книги остаются открытыми.

Но всякая библиотека есть также непреднамеренная автобиография.

Книги, которые мы выбираем.

Те, которые бросаем.

Те, к которым возвращаемся через двадцать лет.

И те, которые уже никогда не открываем, но которые продолжают жить в памяти.

Все они постепенно образуют тайную карту нашей жизни.

Ни один интеллектуальный путь не бывает полностью преднамеренным.

Существуют случайные встречи.

Неожиданные учителя.

Книги, прочитанные слишком рано.

И книги, смысл которых открывается лишь тогда, когда мы прожили достаточно долго, чтобы понять их.

Нечто подобное происходит и с человеческой биографией.

Каждая жизнь неповторима, потому что возникает из единственного пересечения природы, культуры и истории.

Никто не выбирает своего первоначального тела.

Семью.

Век, в котором рождается.

Некоторые ранние раны.

Первые обстоятельства, которые впоследствии незаметно станут частью характера.

Карты раздаются до того, как нас спрашивают, хотим ли мы участвовать в игре.

Но человеческая судьба определяется не только тем, какие карты достались.

Она зависит и от того, как человек ими распоряжается.

Здесь начинается проблема свободы.

И именно здесь русская мысль становится особенно беспокойной.

Потому что свобода для неё редко была спокойным философским понятием.

Она становилась испытанием.

Трагедией.

Почти раной.

Достоевский понял нечто, что всякая слишком рациональная антропология предпочитает забывать:

человек способен отказаться от собственного блага только для того, чтобы доказать себе, что он ещё свободен.

Он способен поступить вопреки очевидной выгоде.

Вопреки расчёту.

Вопреки тому, что должно было бы сделать его счастливым.

Если ему сказать, что все его желания можно вычислить, что все поступки объяснимы законами природы, что всякая человеческая воля сводима к формуле, он, возможно, разрушит собственное благополучие только ради того, чтобы сохранить право быть непредсказуемым.

Так рождается человек подполья.

Не герой.

Не мудрец.

Не святой.

Человек, который слишком много сознаёт и слишком мало способен примириться с самим собой.

Он анализирует собственную боль до тех пор, пока анализ не становится новой формой боли.

Его сознание не освобождает.

Оно разъедает.

Он знает причины своих поступков — и всё же поступает против них.

Он знает, что унижает себя, — и продолжает.

Он знает, что страдает, — и иногда держится за страдание как за последнее доказательство своей свободы.

Здесь возникает страшный вопрос:

а если человек не желает собственного счастья?

Что, если счастье, превращённое в обязательную программу, начинает восприниматься как тюрьма?

Что, если человек предпочитает право на ошибку идеальному устройству жизни?

Тогда свобода перестаёт быть светлым понятием.

Она становится бездной.

Можно было бы назвать её:

пропастью свободы.

Между случайностью и необходимостью человек идёт по краю этой пропасти.

Он никогда не абсолютно свободен.

Он ограничен телом.

Прошлым.

Историей.

Болезнью.

Страхом.

Экономическими обстоятельствами.

Другими людьми.

Но его свобода не исчезает только потому, что она ограничена.

Иногда именно граница делает свободу реальной.

Свобода существует не там, где нет необходимости.

Она возникает в промежутке между тем, что произошло со мной, и тем, что я с этим сделаю.

Существование начинается там, где человек перестаёт только реагировать и начинает спрашивать себя, что ему делать с тем, что произошло.

Но свобода почти неизбежно приводит к вине.

Если я действительно свободен, хотя бы частично, я не могу бесконечно объяснять себя обстоятельствами.

Некоторые мои поступки принадлежат мне.

Это и есть страшная привилегия личности.

Достоевский вновь и вновь возвращался к тайной связи между свободой и виной.

Не всякая вина юридическая.

Не всякая вина измерима нарушением закона.

Иногда человек ощущает виновность перед другим существом не потому, что совершил преступление, а потому, что не смог любить.

Не услышал.

Не пришёл.

Не остановился.

Предал доверие.

Прошёл мимо чужой боли.

Есть вина действия.

Но существует также вина отсутствия.

Вина того, чего мы не сделали.

И здесь нравственный мир становится гораздо сложнее любого кодекса.

Потому что закон спрашивает:

что ты совершил?

А совесть иногда спрашивает:

кем ты оказался, когда другому был нужен человек?

Русская литература знала этот вопрос задолго до современной психологии.

Она знала также, что вина может разрушать.

Но может и пробуждать.

Патологическая вина сужает мир.

Она превращает человека в обвинителя самого себя.

Она уже не ведёт к ответственности, а только повторяет приговор.

Но существует и другая вина — та, которая заставляет увидеть другого.

Отказаться от самооправдания.

Признать свою причастность.

В этом смысле вина может стать началом нравственного сознания.

И всё же вина — не единственная тайна.

Есть страдание, которое невозможно вывести из свободы.

Страдание ребёнка.

Болезнь.

Катастрофа.

Смерть.

Потеря.

Случайная жестокость.

То, что произошло без всякой заслуженности.

И здесь появляется один из самых страшных вопросов Достоевского:

можно ли примириться с миром, если цена гармонии — невинное страдание?

Есть боль, которую нельзя оправдать объяснением.

Её нельзя превратить в элемент красивой системы.

Нельзя сказать страдающему человеку:

твоя боль необходима, потому что она занимает правильное место во всеобщем порядке.

Иногда метафизическое объяснение становится нравственной жестокостью.

Не всякое страдание требует теории.

Некоторое страдание прежде всего требует свидетеля.

Человека, который не отведёт глаз.

Отсюда, возможно, начинается особая этика присутствия.

Не объяснить чужую боль.

Не присвоить её.

Не превратить в пример.

А выдержать её присутствие рядом.

В этом месте рядом с Достоевским появляется Владимир Соловьёв.

У него человеческая личность не исчерпывается тем, чем она является в данный момент.

Человек всегда превышает собственное эмпирическое состояние.

Он способен желать абсолютного, хотя сам конечен.

Способен искать полноту, оставаясь существом неполным.

Способен любить не только то, что есть, но и то, чем другой может стать.

В человеке существует странный разрыв:

между конечностью его существования и бесконечностью его устремлений.

Мы смертны — и думаем о вечности.

Ограничены — и жаждем безусловного.

Одиноки — и ищем совершенного единства.

Несовершенны — и способны представить добро, которому сами не соответствуем.

Именно этот разрыв делает человека одновременно великим и несчастным.

В нём рождается религиозный вопрос.

Не обязательно как принадлежность к институту.

Не обязательно как догмат.

Но как вопрос о том, достаточно ли мира самому себе.

Достаточно ли факта.

Достаточно ли смерти.

Достаточно ли того, что существует.

Или человеческое сознание неизбежно спрашивает:

должно ли быть нечто большее?

Соловьёв не позволяет свести человека к биологии.

Но и не позволяет замкнуть его в индивидуальном эго.

Личность существует через отношение.

Через другого.

Через любовь.

И потому спасение, если вообще можно употребить это слово философски, не может быть только индивидуальным.

Человек не спасается от человечества.

Он спасается вместе с ним или не спасается вовсе.

Отсюда вопрос о зле становится неизбежным.

Современное сознание любит объяснять зло.

Психологией.

Травмой.

Средой.

Идеологией.

Неврологией.

Социальным устройством.

И всё это может быть справедливо.

Но объяснить зло ещё не значит его отменить.

Причинность не является оправданием.

Можно понять механизм жестокости и всё же назвать жестокость жестокостью.

Можно исследовать биографию преступника, не превращая жертву в побочный элемент его биографии.

Психиатрия особенно обязана помнить это различие.

Понимание не равно оправданию.

Клиническое объяснение не отменяет нравственного измерения поступка.

И здесь свобода вновь становится центральной.

Если весь человек полностью определён причиной, то вина исчезает.

Но если человек абсолютно свободен от всякой причины, исчезает сама возможность науки о человеке.

Между этими крайностями и существует реальный человек.

Обусловленный.

Но не исчерпанный обусловленностью.

Уязвимый.

Но не полностью пассивный.

Свободный.

Но никогда не всемогущий.

В психопатологии свобода приобретает ещё более драматический смысл.

Психическая болезнь не есть просто набор симптомов.

Она может менять сам способ присутствия человека в мире.

Депрессия изменяет будущее.

Не просто настроение.

Будущее перестаёт притягивать.

Оно становится пустым.

Закрытым.

Иногда уже совершившимся в форме поражения.

Мания нарушает меру возможного.

Возможность становится уверенностью.

Желание — почти фактом.

Психоз меняет сам статус реальности.

Навязчивость может превратить свободу в ритуал.

Тревога превращает возможность в угрозу.

Импульсивность резко сокращает расстояние между желанием и действием.

Поэтому психическое расстройство является не только клиническим событием.

Оно способно стать:

антропологическим разломом.

Современная нозография может чрезвычайно точно классифицировать эти состояния.

Но классифицировать — ещё не значит понять.

Диагноз может назвать синдром.

Гораздо труднее понять, что происходит со свободой человека, когда его мир сужается настолько, что становится почти необитаемым.

Именно поэтому старая идея психиатрии как исследования некоторой патологии свободы сохраняет свою силу.

Здесь появляется тревога.

Кьеркегор называл её головокружением свободы.

Русская мысль могла бы добавить:

иногда тревога — это цена сознания того, что ни одна судьба не написана до конца.

Животное боится.

Человек ещё и предвидит.

Он способен страдать из-за будущего, которого никогда не будет.

Способен оплакивать возможность, которая ещё не утрачена.

Способен представить катастрофу с такой ясностью, что начинает жить в ней задолго до её наступления.

Но именно эта способность делает возможной свободу.

Только тот, кто способен ошибиться, способен выбрать.

Только тот, кто способен потерять, способен рисковать.

Только тот, кто способен потерпеть поражение, способен действовать.

Свобода и тревога поэтому связаны гораздо теснее, чем нам хотелось бы.

Мир без тревоги мог бы оказаться миром без выбора.

Но тут входит Лев Шестов.

И он разрушает слишком стройную конструкцию.

Потому что Шестов подозревает разум в стремлении превратить жизнь в систему необходимости.

Философия говорит:

то, что случилось, должно было случиться.

Есть причины.

Есть законы.

Есть логика.

Есть вечные истины.

Есть невозможное.

Но что, если именно эта необходимость и является одной из самых жестоких тюрем?

Что, если человек страдает не только от боли, но и от приговора:

иначе быть не могло?

Шестов восстаёт именно против этой капитуляции перед необходимостью.

Отсюда его столкновение:

Афины и Иерусалим.

Афины — разум, доказательство, необходимость, универсальная истина.

Иерусалим — вера, откровение, невозможное, свобода от последнего слова необходимости.

Не следует превращать это противопоставление в школьную схему.

Оно гораздо глубже.

Шестов спрашивает:

имеет ли разум право объявить границы возможного окончательными?

Или вера начинается именно там, где человек отказывается признавать необходимость последней инстанции?

Это не рациональный ответ.

Это почти восстание.

Вера здесь не успокаивает.

Она рискует.

Не закрывает вопрос.

Она открывает его там, где разум уже поставил точку.

В этом смысле страдание оказывается особенно опасным для всякой философской системы.

Система стремится объяснить.

Страдающий человек иногда требует другого:

верни мне то, что утрачено.

И никакая теория не способна заменить умершего человека.

Никакая концепция необходимости не возвращает детство.

Никакая философия истории не отменяет конкретную слезу.

Шестов заставляет философию вспомнить о единичном.

О человеке, который страдает не как представитель человечества, а как этот единственный человек.

Именно здесь возникает пропасть между истиной системы и истиной существования.

Возможно, обе необходимы.

Но их нельзя путать.

А затем появляется Бердяев.

У него свобода получает почти метафизическую глубину.

Человек не просто выбирает между готовыми возможностями.

Свобода связана с творчеством.

С появлением того, чего прежде не было.

И здесь находится важнейший переход.

Если свобода есть только выбор между А и В, она остаётся бедной.

Подлинная свобода начинается тогда, когда человек способен создать С, которого не предлагал ни один заранее подготовленный список.

Новую мысль.

Новый поступок.

Новую форму отношений.

Прощение, которого никто не ожидал.

Произведение.

Решение.

Жизнь, которой ещё не существовало.

Творчество — один из высших языков свободы.

Но именно поэтому свобода опасна.

То, что может создавать добро, может производить и зло.

Свобода без возможности зла была бы механическим добром.

Она перестала бы быть свободой.

И здесь возникает трагическая мысль:

человеческое достоинство связано с тем же самым условием, которое делает возможной человеческую катастрофу.

Мы способны любить потому, что способны не любить.

Способны быть верными потому, что можем предать.

Способны творить потому, что можем разрушать.

Свобода не гарантирует добра.

Она делает добро возможным.

Именно здесь понятие личности приобретает особую силу.

Личность — личность, а не просто индивид.

Индивид можно описать статистически.

Возраст.

Вес.

Диагноз.

Доход.

Социальная группа.

Нейробиологические показатели.

Но личность никогда полностью не исчерпывается суммой характеристик.

В ней есть история.

Самоотношение.

Ответственность.

Проект.

Внутреннее противоречие.

Способность сказать «нет».

Способность начать.

Возможность стать другим, не переставая быть собой.

Бердяев защищает именно эту непредсказуемость личности.

Она не объект среди объектов.

Не функция общества.

Не элемент системы.

В личности всегда остаётся нечто, что сопротивляется окончательной редукции.

Это чрезвычайно важно для психиатрии.

Пациент не равен диагнозу.

Диагноз может быть необходим.

Но он не является биографией.

Синдром не исчерпывает человека.

Тот, кто страдает депрессией, не сводится к депрессии.

Человек с психозом не равен психозу.

И даже там, где свобода глубоко нарушена болезнью, личность не исчезает автоматически.

Она может быть скрыта.

Ослаблена.

Фрагментирована.

Но клиницист обязан искать того, кто остаётся за симптомом.

Возможно, поэтому врачевание души начинается не только с вопроса:

что у вас?

Но и с другого:

что с вами произошло?

И ещё глубже:

кем вы остаётесь среди всего того, что с вами произошло?

Поздняя современность предлагает иной образ человека.

Человек должен быть эффективным.

Оптимизированным.

Продуктивным.

Видимым.

Конкурентоспособным.

Всегда доступным.

Всегда обновляющим себя.

Он превращается в собственный проект.

Собственную рекламу.

Собственную фирму.

Уже недостаточно жить.

Нужно доказать, что жизнь заслуживает чужого внимания.

Отсюда особая усталость.

Субъект должен постоянно производить версию самого себя, достойную показа.

И здесь возникает современная форма несвободы:

человек вроде бы делает всё по собственной воле, но перестаёт понимать, откуда берётся сама его воля.

Ему говорят:

будь собой.

Но одновременно сообщают, каким именно собой следует быть.

Будь уникальным.

Но в соответствии с одинаковыми моделями успеха.

Будь свободным.

Но выбирай из заранее подготовленного меню желаний.

Никогда, возможно, человек не имел столько возможностей.

И никогда не было столь развитой индустрии, предназначенной для того, чтобы предугадывать, направлять и монетизировать его желания.

Отсюда я когда-то пришёл к слову:

Eudemoniapsyche.

Греческая εὐδαιμονία слишком часто переводится просто как счастье.

Но это слишком мало.

Эвдемония у Аристотеля — не приятное настроение.

Не удовольствие.

Не бесконечное удовлетворение желаний.

Это удавшаяся жизнь.

Жизнь, в которой действие, характер, разум и добродетель достигают определённой согласованности.

Но русская версия должна задать другой вопрос.

Можно ли говорить об удавшейся жизни там, где человек страдает?

Если счастье понимать как отсутствие боли — вероятно, нет.

Но если речь идёт о более глубокой целостности, тогда, возможно, страдание и удавшаяся жизнь не являются абсолютными противоположностями.

Это опасная мысль.

Её нельзя превращать в романтизацию страдания.

Страдание не делает человека автоматически лучше.

Оно может разрушить.

Озлобить.

Сузить.

Убить.

Но иногда человек способен сделать со своим страданием нечто такое, что страдание само по себе никогда не произвело бы.

Он способен превратить его в понимание.

Сочувствие.

Произведение.

Отказ причинять другому ту же боль.

Именно здесь Бердяев вновь становится близким.

Творчество не отменяет трагедию.

Оно отвечает на неё.

Может быть, это и есть один из смыслов свободы:

не выбирать страдание,

а выбирать, что сделать с тем, что нельзя было выбрать.

Так появляется надежда.

Не как оптимизм.

Не как убеждение, что всё закончится хорошо.

Надежда гораздо скромнее и сильнее.

Она говорит:

последний смысл происходящего ещё не исчерпан.

Пока человек жив, окончательное толкование его жизни не завершено.

Даже после утраты возможно другое отношение к утрате.

После вины — ответственность.

После предательства — не всегда восстановление прежнего, но иногда правда.

После болезни — не обязательно возвращение к прежнему человеку, но возможное появление иного.

Надежда не обещает восстановления всего.

Она сопротивляется идее, что настоящее обладает монополией на будущее.

Здесь вера вновь возвращается.

Но вера в русской традиции, о которой идёт речь, слишком трагична, чтобы быть просто утешением.

Достоевский знает сомнение.

Соловьёв знает метафизическое напряжение.

Шестов знает отчаяние перед необходимостью.

Бердяев знает опасность свободы.

Поэтому вера здесь не противоположность вопросу.

Она живёт внутри вопроса.

Не отменяет тьму.

Она отказывается признать тьму окончательной.

Возможно, вера начинается не там, где человек перестаёт сомневаться.

А там, где сомнение уже не может заставить его перестать искать.

Что же тогда значит:

лекарства для души?

Не обезболивающее.

Не набор красивых сентенций.

Не обещание психического покоя.

Книга не возвращает умерших.

Не отменяет вины.

Не уничтожает тревогу.

Не исправляет прошлое.

Но книга может сделать нечто другое.

Она может дать человеку слова для того, что до этого существовало только как безымянная боль.

А назвать — значит уже несколько изменить отношение к пережитому.

Язык создаёт дистанцию.

Не уничтожает страдание, но позволяет увидеть его.

Разговаривать с ним.

Разделить его.

И здесь библиотека снова становится внутренней.

Потому что постепенно книги превращаются в голоса внутри нас.

Иногда в момент одиночества мы обнаруживаем, что думаем словами человека, умершего двести лет назад.

Это одна из самых странных форм человеческой общности.

Возможно, потому книги и являются лекарствами души.

Не потому, что избавляют нас от страдания.

А потому, что избавляют от иллюзии, будто наше страдание никогда никем не было пережито.

Книги не освобождают нас от страдания.

Они освобождают нас от одиночества страдания.

Они напоминают:

до нас уже любили.

Боялись.

Предавали.

Прощали.

Сомневались.

Верили.

Теряли.

Сходили с ума.

Возвращались.

Умирали.

И ни одна человеческая тревога не возникает полностью без родословной.

Библиотека возвращает нас в долгий разговор человека с самим собой.

Но русская традиция заставляет добавить ещё нечто.

Не всякий вопрос должен быть закрыт ответом.

Иногда ответ уменьшает вопрос.

Иногда объяснение предаёт страдание.

Иногда разум слишком быстро говорит:

это необходимо.

А душа ещё не согласилась.

И, может быть, не обязана соглашаться.

Человек остаётся существом между необходимостью и свободой.

Между виной и прощением.

Между страданием и смыслом.

Между злом и ответственностью.

Между неверием и верой.

Между одиночеством и другим.

Между тем, что уже произошло, и тем, что ещё может быть создано.

И потому последнее слово, возможно, принадлежит не страданию.

И даже не свободе.

А творчеству.

Потому что творить — значит утверждать, что реальность ещё не завершена.

Что после случившегося возможно то, чего раньше не было.

Что человек — не только результат прошлого.

Он ещё и источник начала.

Вот почему душа нуждается не только в объяснениях.

Иногда ей нужен собеседник.

Иногда свидетель.

Иногда вера.

Иногда молчание.

Иногда книга.

И, возможно, именно тогда древняя надпись вновь приобретает всю свою силу:

ψυχῆς ἰατρεῖον.

Врачевание души.

Не потому, что библиотека освобождает нас от человеческой участи.

Но потому, что возвращает нас к ней без одиночества.

И напоминает:

свобода может ранить, но без свободы нет личности;

вина может разрушать, но без ответственности нет нравственного мира;

страдание не всегда имеет объяснение, но оно может быть услышано;

разум необходим, но необходимость не имеет права на последнее слово;

вера не уничтожает вопрос, но не позволяет вопросу превратиться в отчаяние;

а творчество свидетельствует о том, что человек способен быть не только следствием, но и началом.

Может быть, в этом и состоит последняя надежда.

Не в том, что страдание исчезнет.

А в том, что оно не получит права окончательно определить, кем мы являемся.